

I. ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПЕРИОДА ДЕТСТВА

До поступления в школу

Моё самое раннее воспоминание не связано в непрерывную цепь с последующими. В виде отдельного, вполне яркого обрывка сохранилось оно в моём сознании. Это воспоминание о грозе и ливне, от которого нужно было спасаться, карабкаясь по крутому, обрывистому берегу реки. С совершенной достоверностью встаёт у меня в памяти картина: мы плывём в небольшом баркасе — отец, мать, старшая сестра и я. Ослепительная молния освещает косые струи дождя. Оглушительный раскат грома. Не знаю, когда это происходило, но дело было, по-видимому, в праздник. Я ясно помню, что надет на мне был впервые новый костюм, и я больше всего думал, что он пропадёт от дождя. На мне был картуз. Врезалось в память, что я был ещё очень мал. Отец подгоняет лодку к берегу, выскакивает из неё, держит и кричит матери тащить меня на берег. Очевидно, я ещё не мог выскокить самостоятельно. Мы по «стёжечке»-тропинке спешим выкарабкаться наверх, к стоящей у самого берега полуразвалившейся каменной церкви. Опять молния и гром, но мы уже стоим под церковными сводами¹. Когда я рассказывал, будучи уже большим, об этом моём отрывочном воспоминании, отец и мать подтверждали, что такой случай был в 1872 г., когда действительно в Старгородке, подле Остра, мы были застигнуты грозой на реке и спасались от ливня в развалинах старинной церкви. Так как мне было только три года, то отец решительно не допускал, чтобы в памяти у меня могли сохраниться так ясно впечатления столь отдалённого прошлого. Но достоверно, что позднее я не бывал в Старгородке и крутого берега и развалин Старгородской церкви не видел. У меня остаётся полная уверенность, что это действительно наиболее раннее оставившее след в моей памяти воспоминание. Очевидно, слишком глубокое было впечатление от

¹ Позднее внуки Захария Григорьевича нашли и сфотографировали эту церковь. Ею оказалась так называемая «Юрьева божница» на левом берегу р. Остёр близ Старгородка, основанная Юрием Долгоруким за 20 лет до основания Москвы.

ливня и грома на реке, от потоков воды с кручи берега, по которому мы забирались, спасаясь от грозы.

Такое же яркое другое воспоминание, но уже не в виде несвязанного с другими событиями отрывка, а как часть соответствующего периода ранней жизни, выступает и стоит передо мною, точно я сейчас переживаю его.

Непосредственно за нашим садом начинался ряд небольших домов на одной из окраинных улиц г. Козельца. В жаркий летний день мы с братом Серёжей, забравшись в кусты, обедали уже созревший крыжовник и вдруг увидели клубы густого чёрного дыма, вырывавшиеся из соседнего дома. Разумеется, мы побежали туда. Там, голося и причитая, женщины выносили и выбрасывали из открытых окон всякий скарб. Сбегался народ. У кучи утвари сидела женщина с малым ребёнком. Порывы ветра разносили искры и языки пламени. Приехала одна или две пожарные бочки. Они заезжали в наш сад, к недавно вырытому пруду, черпаками на длинных держакках черпали из пруда и заливали в бочки воду, а затем подъезжали к горевшему дому и ведрами заливали водой растасканные баграми отдельно горевшие брёвна. Появился в ризе, с крестом и кропилом, отец Семён. Вместе с дьячком они носили распятие, пели молитвы. Отец Семён славился тем, что он «отворачивал ветер» в безопасную сторону, чтобы оградить от огня соседние дома. Его и вызвали, очевидно, жители не пострадавшего, а соседних домов. Довольно скоро дом сгорел. Другие же дома уцелели, но пожарные долго ещё ведёрками заливали догоравшие головни на пожарище.

Это был первый виденный мною в жизни пожар. Картина его со всеми деталями сохранилась у меня в памяти. Хронологическая дата этого пожара легко устанавливается, т. к. он случился на второй год нашей жизни в арендованном отцом хозяйстве с садом и домом на окраине г. Козельца в 1874 г. Следовательно, мне шёл уже пятый год. Об этом периоде в памяти у меня встают уже не разрозненные, а связанные в общую цепь воспоминания.

Сад мне казался несказанно большим, хотя, как восстанавливаю теперь по памяти, в нём было лишь несколько плодовых деревьев и немного ягодных кустов. В конце прямой средней дорожки стояли две липы. Мне они казались невероятно высокими. Мы с братом стреляли из самодельного лука и камешками из резиновой рогатки, постоянно охотясь в саду на сорок, сорокопутов и дроздов. Но ни одна стрела из лука, ни один камушек из рогатки не достигали до вершины этих двух сказочно огромных лип. Так они и остались в моей памяти деревьями-великанами. Много лет потом я не бывал в Козельце. Но вот случайно в 1906 году, т. е. спустя более 30 лет, я попал в этот город. Мне захотелось посмотреть на эти жившие в моей памяти липы-великаны. С изумлением я должен был разочароваться в них. В полуопустошенном небольшом саду в конце средней прямой дорожки стояли две старых липы довольно скромных размеров, не имевшие ничего общего с памятными деревьями-великанами. Я внимательно осмотрел и их, и уцелевшие кусты, и заросший, заплесневевший пруд — всё было на прежнем месте... Липы стояли на своём месте, но я стал другим, иным масштабом мерил, по-иному воспринимал окружающее.

Из этого же периода 1874–1875 гг. хорошо помню, как отец отводил и измерял место в конце сада в низине для рытья пруда и как потом пришли

«грабари» и много дней копали пруд. Вырытую землю раскладывали у берегов пруда, а потом прокопали канаву от реки Остёр к пруду и из пруда обратно в реку, так что пруд имел проточную воду. В пруду потом купался отец и какой-то часто бывавший у нас знакомый, носивший военную форму.

К этим же годам относятся и мои воспоминания об учителе Ивановском, жившем у нас и занимавшемся со старшим братом Яковом, которому в то время было уже лет 14. Родился он в год отмены крепостного права, т. е. в 1861 г. В то время Яков учился в Козелецком «уездном училище». Обязательная форма учащихся таких училищ включала фуражку с красным околышем. Мы его так и дразнили — «красный околыш». Старший брат был страстным любителем голубей. У него были голуби разных пород, в том числе особо дорогие — «турманы». Их он выпускал и особыми криками и свистом заставлял взлетать вверх и оттуда падать, перевёртываясь несколько раз в воздухе. На чердаке, под соломенной крышей дома, были гнёзда голубей; мы постоянно видели, как самцы загоняли голубок в гнёзда, чтобы они сидели на яйцах. Слуховое оконце на чердаке было снабжено затвором, который при помощи длинного шнура брат захлопывал, если вместе со своими в оконце влетали и чужие голуби. Это служило источником ссор, доходивших до драк, с хозяевами залетевших голубей, такими же увлечёнными страстью к «вертунам», турманам и другим породам голубей. Вспоминаю случай, когда гнавшийся за голубями молниеносно быстрый ястреб с разгона влетел через оконце на чердак, и был там захлопнут. Не помня себя от возбуждения, мы вместе с Яковом вскочили на чердак. Ястреб был пойман. Лёжа на спине, он отчаянно защищался когтями. Наконец, его крылья были туго перевязаны, и он был отдан на растерзание собакам.

С такой же страстью, как и голубями, брат увлекался ловлей певчих птиц — щеглят, чижей, снегирей, синиц и др. Естественно, что учёба была у него в загоне. Учитель Ивановский жаловался отцу. Отец с запальчивостью бранил брата, угрожал ему и разрешал Ивановскому применять физические наказания. Ивановский нередко страдал запоями и в пьяном виде бил брата линейкой. Яков был не робкого десятка и умел по-своему мстить Ивановскому. Эти сцены наказаний старшего брата остались в моей памяти одним из наиболее мрачных воспоминаний детства. Так же тяжело и воспоминание о приездах на двуколке толстобрюхого уездного надзирателя Солодского (до введения становых приставов и урядников надзиратель заменял их) — мелкопоместного владельца соседнего хуторка. Он всегда приезжал в погоне за своей женой, убежавшей от его побоев и часто спасавшейся у нас. Его угощали, говорили, что жена к нам не приходила. Он мирно и любезно беседовал. Но если, бывало, заставлял жену, к стати сказать, очень милую, весёлую в его отсутствие женщину, — не удержиимо и яростно бросался на неё, хватал за волосы, валил и тащил по земле, приговаривая:

— Вот тебе волостное управление и земский суд!

Никакая защита не имела успеха. Он увозил «свою собственную» жену, громко рыдавшую. Жалость к ней вызывала у меня слёзы. Гнев, злоба, возмущение жестокостью Солодского закипали во мне.

В те годы наша семья ещё не была так многочисленна, как впоследствии. Однако нас, детей, уже было шестеро — три сестры и три брата: Вера, рож-

дённая в 1858 г., Яков — 1861, Софья — 1863, Юлия — 1865, Сергей — 1868 и я, Захарий, родившийся в декабре 1869 года. Позднее семья разрослась до десяти детей. Подросли расходы на обучение, когда четверо одновременно учились в гимназиях. Тогда постоянные заботы о содержании семьи, о воспитании детей повлияли на характер отца. Но в ранний период детства в Козельце я помню отца ещё без седых волос. Страстный любитель охоты, он всегда имел охотничью собаку. На стене в его комнате, на ковре с вытканной легавой собакой, несущей утку, висела двустволка. По вечерам отец с увлечением играл на скрипке. Многие его любимые мотивы я помню до сих пор. Это украинские песни: «Ой, не ходи, Грицю, та на вечерниці», «Стоит явир над водою» и др. Для нас — для меня и Серёжи особенно — было занятно, когда отец раскладывал краски и кисти и рисовал на больших листах бумаги. Любимым сюжетом его картин был лес, густые заросли «очерета» (тростника) и кустарников, через которые пробирается дикий кабан.

По-видимому, в то время отец очень любил общество. К нему часто приезжали знакомые. В день его именин съезжались гости, для которых он играл на скрипке, было пение. Нередко отец уезжал на несколько дней. Бывал он в Киеве. Возвращаясь, привозил матери и всем нам подарки. Обычно он привозил из города также французскую булку и кусок швейцарского сыра. Дома у нас белого хлеба обычно не бывало. Наша мать сама пекла хлеб из ржаной муки. В качестве закваски в чисто выскобленной и выпаренной деже оставлялся кусок теста. С вечера из муки и тёплой воды делалась опара, потом мать месила тесто, добавляя сколько нужно соли. До утра, прикрытая чистым рушником стояла дежа на тёплой печи. Утром, когда русская печь была уже вытоплена и всястряпня закончена, из печи вынимали все чугуны, в которых грелась вода, горшки с борщом и кашей, и мать «сажала» на деревянной лопате хлеба в печь вместе с листьями капусты, подложенными под хлеба, чтобы они не пригорели и не запачкались снизу. По состоянию корки и по другим признакам мать наша знала, когда надо вынимать хлеба из печи. От вынутого ею из печи хлеба шёл сильный, особый, такой приятный запах, какого никогда и нигде я больше не ощущал. Только одна наша мать умела печь такой вкусный хлеб. Масло у нас сбивали из сметаны, а кислое молоко (простоквашу) подогревали и клали в решето. Сливавшуюся сквозь решето сыворотку использовали для замешивания хлеба, а оставшийся в решете творог шёл под пресс, т. е. завернутый в чистую полотняную тряпку клался под камни, и такой творог носил у нас название «сыр». А в редких случаях, когда отец приезжал из Киева, он привозил кусок швейцарского сыра, который довольно долго хранился, тщательно завернутый, на случай гостей. Изредка, при случае, привозились и стеариновые свечи (четверик в общей синей обёртке). Они тоже зажигались только при гостях. Обычно же в то время, т. е. до русско-турецкой войны 1877–1878 гг., у нас в домашнем обиходе были только сальные свечи. Их делала наша мать сама из «лоя», т. е. из топлёного бараньего жира.

Техника изготовления сальных свечей была очень несложной. Из белых ниток, из которых мать вязала чулки сёстрам, делался фитиль. Он натягивался между двумя желобами. При складывании желобов получалась труб-

ка, в которую и наливался растопленный «лой». Когда «лой» застывал, обе половинки формы снимались и вынималась готовая сальная свеча. Слабое освещение поддерживалось лампадками. Позднее, в 80-х годах, появились «каганцы» и керосиновые лампы.

Из поры этого отдалённого детства запечатлелся милый мне образ всегда опечаленной, готовой ронять украдкой горькие слёзы Одарки. Как живая встаёт она в моей памяти. Одарка служила у нас нянькой в 1874–1879 гг. Высокая, со смуглым бледным лицом и запавшими щеками, всегда в чёрном, она никогда не была весёлой. Я очень любил её за ласковое обращение и ещё за то, что она сказок нам не рассказывала, а когда мы бывали одни, говорила нам правду о своей тяжёлой жизни. Я не помню, чтобы она когда-нибудь смеялась или шутила. У неё был свой хлопчик, она берегла его и любила. С ним ушла из дома от своих родителей служить в «чужие люди». Её прогнали родные отец и мать за то, что она была «покрыткой». Я не понимал этого слова, но чувствовал всю его горечь, т. к. Одарка всегда плакала, называя себя этим словом. Её хлопчик умер, когда ему было всего четыре года, ещё до того, как она поступила к нам в няньки. Её рассказы всегда были жалостливые — о бездушном, жестоком отношении к её хлопчику чужих людей, которые принимали её на работу. Но наша мать и мы любили Одарку, и она не чувствовала себя в нашей семье чужим человеком. По временам она уходила в своё село Тополи. По-видимому, насколько я теперь понимаю, ей невмоготу была разлука с родными и с тем, кто был отцом её сына. Но проходили недели или месяцы, и Одарка возвращалась, иногда со следами побоев на лице и теле, и всегда готовая вновь и вновь втихомолку проливать горькие слёзы.

Наедине с нами, со мною и Серёжей, она отводила душу, рассказывая о беспросветной своей доле. Она была откровенна и с нашей матерью. Я помню, как мать уговаривала её забыть о мучившем и тиранившем её человеке, который женился на другой.

Почему-то с воспоминаниями об Одарке у меня связана память о казавшемся мне тогда почти уже стариком бывшем приказчике у прежних своих крепостных хозяев — Канарее. Это была либо его фамилия, либо прозвище. Рябой от оспы, с серьгой в одном ухе, он появлялся у нас, приезжая из Тополей¹, виделся с Одаркой. К нему у меня всегда было непреодолимо враждебное чувство. Угодливый с нами, он был груб с Одаркой. После него она всегда оставалась в слезах.

Из людей того же периода (1876–1885 гг.) упомяну о Константине Петровиче Барабаше, работавшем машинистом на винокуренном заводе

¹ Деревни и местечки Тополи (с ударением на последнем слоге), Борки, Берёзовая Рудка и ряд других входили в приход храма, находившегося в селе Алексеевщина. Все они принадлежали разным помещикам, и отец Захария Григорьевича в разные годы служил управляющим то у одного, то у другого. По сведениям киевского краеведа М. С. Шкурки, дольше всех Григорий Андреевич был управляющим в имениях графа И. П. Закревского. Сведения о датах рождения и крещения всех детей Френкелей, начиная с Сергея (1868) до Евгении (1880) содержатся в церковно-приходских книгах храма в Алексеевщине.

в Алексеевщине, а затем, когда отец перешел в Борки, на таком же заводе — в Борках. Это был человек исключительно трудолюбивый, всегда занятый слесарными и паяльными работами, починкой механизмов, сборкой новых, поступавших на завод приборов и аппаратов, разборкой, очисткой и ремонтом старых. Неразговорчивый, занятый наблюдением за работой аппаратов и их исправлением, он в то же время в часы своего отдыха и в праздники в уголке заводского помещения, заменявшем ему мастерскую, неизменно был занят починкой швейных машин, лужением металлической посуды, самоваров. В этом уголке стоял его рабочий стол — верстак с прочно вделанными в него тисками и ножницами для резания листов железа. Тут же был точильный круг, а рядом — небольшой горн с ручными мехами для раздувания огня в угле. Около стола стояли ящики со всякими инструментами, ключами, напильниками, паяльниками.

Так много работавший, Константин Петрович всё же не мог отказать сослуживцам по заводу, постоянно приносившим ему в починку предметы домашней утвари. Вопреки нравам мастеровых людей, Константин Петрович был совершенно непьющим. Он любил вводить придуманные им улучшения и изменения в конструкцию приборов и машин, и весь был поглощен затем проверкой усовершенствований в работе сконструированных механизмов. Мы с Серёжей часами не отрывались от места, где работал Константин Петрович. Правда, он не очень любил, чтобы мы мешали ему своими расспросами или трогали его инструменты, однако нам всё же удавалось помочь ему, то раздувая мехи, то отрезая нажимом на рычаг больших ножниц кусок жести, то заклёпывая молотком головки и загибы. Бывало и так, что Константин Петрович делал для нас мудрёные приборы для фокусов с металлическими кольцами и продевания сквозь них цепи из более широких колец. Иногда эти фокусы были настолько головоломными, что мы неделями и так, и сяк пытались их разгадать, а Константин Петрович проделывал их на наших глазах с лёгкостью.

Отец мой очень ценил Константина Петровича, как трезвого, державшегося всегда с достоинством, умелого и полезного сотрудника. Особенно незаменимы были услуги Константина Петровича при поломке во время неотложных сельскохозяйственных работ той или иной машины — сеялки или зерноочистителя, веялки или молотилки. Отец нередко приглашал Константина Петровича вечером к ужину, благодаря чему он стал хорошим знакомым в нашей семье.

Следует ещё, пожалуй, рассказать о Дебелом. Он приезжал к нам иногда на «беде» (двуколке), запряжённой дородной кобылой. Плотный, невысокий, с красными щеками, обрамлёнными начинавшей уже сесть бородою, он всегда был в чистой поддёвке, выходил из своей «беды» и с кнутом в руках ходил по двору и по всей усадьбе, разыскивая отца. Приезд его у нас всегда был связан с ожиданием какой-то неприятности. По-видимому, в те годы отец очень часто нуждался в деньгах. Чтобы достать их, продавали лошадей или телку, либо откормленного кабана, или двух-трёх полугодовалых или годовалых подвинков, либо производились «запродажи» будущего урожая фруктового сада, овса, репса или табака. Поскольку деньги требовались неотложно, такие предварительные «запродажи» производились по

крайне невыгодным ценам, и потому к закупищику, каковым чаще всего и являлся в таких случаях Дебелый, оставалось чувство затаённой обиды за заведомо недобросовестные цены, а у нас, детей, чувства недоброжелательства и вражды. Дебелый же после сделки спокойно запрягал свою сытую кобылу, с полным равнодушием к упрёкам отца усаживался в свою «беду» и угонял с собою на привязи нашу любимую тёлку или «лошонка».

Бывало и гораздо хуже, когда продать было нечего, а деньги нужны. Дебелый давал их под вексель, но уплата в рассрочку писалась в векселе на сумму много большую, чем та, которую он давал. А потом точно в срок он приезжал за платежом, и уж тут никаких отсрочек, никаких уступок! Отец иногда раздражался, повышал голос, упрекал его в бессовестном ростовщичестве. Дебелый отвечал ровным, тихим, даже вкрадчивым голосом, но никогда ни скидок, ни уступок не делал, а говорил только, что завтра же предъявит вексель приставу ко взысканию. Он, конечно, знал, что отец этого не может допустить и отдаст ему ту или иную ценную вещь за бесценок в уплату долга.

Дебелый был богатеем, имел одного-двух постоянных батраков и, кроме того, использовал труд односельчан, которые отрабатывали полученные у него в долг небольшие суммы на самых невероятных, ростовщических условиях. Однажды он приехал получать какой-то платёж. Было это зимой. Он сидел у стола, а отец при свете горевшей свечи отсчитывал подлежащую уплате сумму. После пересчёта в руках у отца осталась «красненькая». Так называлась, если не ошибаюсь, десятирублёвая ассигнация. Дебелый своим вкрадчивым голосом сказал, что не худо было бы отдать ему и эту «красненькую» за то, что он всегда выручает отца. Я почувствовал, что отца эта просьба вывела из себя. Он поднёс ассигнацию к горевшей свече и, повысив голос, ответил:

— Скорее сожгу эту бумажку, а не дам её в подарок живодёру!

При виде загоревшейся ассигнации Дебелый вскочил, выхватил «красненькую» из руки отца, погасил её и спрятал в карман, всё тем же вкрадчивым голосом поблагодарив за «подарок».

В качестве образчика тихого «подсживателя», каким был Дебелый, рассказывали о его жалобе на священника его прихода — отца Семёна. У Дебелого было закончено строительство нового хорошего дома, о котором он самодовольно говорил:

— Хата моя рубленая, на помости.

Нужно было освятить дом. Дебелый позвал отца Семёна. Проходя через двор вместе с дьячком и Дебелым, батюшка указал на откормленного кабана:

— Ось, це мини за освящение нового дома.

Дебелый не возражал. По окончании обряда и окроплении дома отец Семён, любитель праздничной трапезы, остался с собравшимися гостями, преизядно выпил, а когда собрался уезжать, увидел, что вместо «подсвинка» в его воз положен поросёнок. Он заспорил с Дебелым, требуя условленного «подсвинка». Дебелый не соглашался.

— Як не дасы цего пидсвинка, хату рассвячу! — сказал разгневанный батюшка. И действительно, надел вывернутую наизнанку рясу, взял крест дер-

жаком вверх, стал обходить дом с песнопением, в котором всюду ко всем призывам о благоволении прибавлял частицу «не». Дебелый не спорил с батюшкой и не останавливал его, а попросил двоих гостей быть «понятыми», т. е. свидетелями, а потом написал жалобу в духовную консисторию на бедного отца Семёна. При следствии жалоба подтвердилась, и отец Семён был на два года заточён в монастырь для «замаливания своего греха». А репутация Дебелого, как человека, с которым спорить опасно, ещё больше укрепилась.

Все мы, дети, испытывали большое огорчение, когда выращенных у нас дома телят или жеребят приходилось продавать. Незадолго до войны с турками у нашей буланой кобылы ранней весной появился на свет жеребёнок. Его часто приводили в кухню и подкармливали тёплым пойлом и молоком. Буланка, его мать, трогательно ухаживала за ним, тщательно его вылизывала. Жили мы тогда в небольшом доме. В сени вела довольно крутая лесенка. Из сеней — вход в большую кухню с русской печью направо и большим столом в глубине. За этим столом мы завтракали и обедали. Жеребёнок, названный Орликом, так привык к угощению на кухне, что научился легко подниматься по лестнице, входил в кухню и попрошайничал, когда мы садились за стол. Летом он вырос, стал изумительно стройным чёрно-воронным красавцем с белым пятном на лбу и белыми у копыт ногами. Его все ласкали, и он привык чувствовать себя всеобщим любимцем. По призывному ржанию Буланки Орлик грациозно убежал на луг. Гонялся галопом за нами. За зиму он замечательно вырос, но и на следующее лето сохранял все свои привычки балованного жеребёнка, хотя выглядел выхолоненным жеребцом. С прежней игривостью он входил по лестнице в сени, согнув свою красивую шею, проходил через дверь в кухню, вставлял свою большую голову с умными, ласковыми глазами между нами, прижимал уши и ждал угощения. Ещё более грациозным и своенравным стал он, когда ему стало уже два года. Он привлекал к себе общее внимание не только своим ростом, красотой, быстротой бега по кругу, но и умением, невзирая на свой большой рост, взбираться в кухню, а также своей понятливостью и привязанностью к нам. Его очень берегли, ни разу не брали в упряжку. Понятно наше горе и слёзы, когда Орлик был продан на ярмарке как породистый жеребец. Отец, как и мы, любил Орлика, но очередная нужда в деньгах для взноса арендной платы решила участь нашего любимца.

Постоянно за общим столом отец обсуждал вопросы политики, во все суждения он вносил требование разумной обоснованности и нравственной оценки. Позднее, три-четыре года спустя, у отца произошли какие-то глубокие перемены. Он стал более замкнутым, сосредоточенным. Иногда неделями бывал не разговорчив. Начал рано сесть, перестал ходить на охоту, решительно забросил скрипку и ни на какие просьбы матери и наши не поддавался. Скрипка и двустовка, и рисунки собственного письма совсем исчезли из его комнаты. Постоянным до конца жизни его увлечением были газеты, текущие вопросы политической и общественной жизни. При их обсуждении он не мог переносить возражений. Такие же страстные черты глубокого и постоянного интереса носило и его отношение к вопросам земледелия и сельского хозяйства. Он постоянно выписывал «Земле-

дельческую газету» и журнал «Сельский хозяин». Покупал или выписывал новые книги по сельскому хозяйству, тщательно их перечитывал, делал на полях заметки, закладки. Все советы и новинки настойчиво применял на опыте и проверял их своим наблюдением. Я относился к отцу с большим уважением, хотя и вызывал часто в раннем детстве его гнев, а иногда даже длительное недовольство мною за разные выпады против него по поводу несоответствия его поступков в моменты вспыльчивости с высказываемым и признаваемым им общественным правовым началом полного равноправия и равенства людей. Я и сейчас помню мучительное чувство, которое охватывало меня, когда я видел, что отец переживает какие-то внутренние огорчения и страдания, когда он сосредоточенно сидел один.

В комнате у отца стоял шкаф с книгами. Это были хорошо переплетённые книжки журналов «Современник», «Отечественные записки», переводные издания произведений Виктора Гюго, Шиллера. Очень много книг по естествознанию и по прикладным техническим наукам. Научившись рано читать, я, когда никого не было дома, на многие часы погружался в чтение журналов; читал статью за статьёй, часто не проникая в их содержание и подлинный смысл. Мне казалось, что ни в одной из повестей, которые я прочитывал, не было изображено человека с таким значительным содержанием и с таким сложным и глубоким характером, как мой отец. И я твёрдо решил и задумал написать повесть, в которой в главном лице представить отца. Потом этот замысел был забыт.

Мой отец, которого даже тогда, когда я с ним спорил и ссорился, я не переставал глубоко любить и уважать, — Григорий Андреевич Френкель, родился в 1828 г. Был он человеком большого внутреннего содержания, упорной и постоянной работы по самообразованию, всегдашних запросов к себе и бескорыстия. Он отличался сильно развитым чувством собственного достоинства и самоуважения. Но был вспыльчив и тогда совершенно терял самообладание. Умер мой отец в начале Первой мировой войны, в ноябре 1914 г., 86-ти лет от роду. Умер в результате гангрены стопы.

Моя мать — Елизавета Андреевна Френкель, урождённая Бах¹, (из Борисполя Полтавской губернии) была женщиной удивительно мягкой, любвеобильной души, беспредельно трудолюбивая и выносливая. Умерла она в августе 1910 г., 76-ти лет от роду, от воспаления среднего уха (осложнение после гриппа).

В 1876 г. отец стал управляющим в имении Борки Остёрского уезда. Помню, с каким страданием и гневом я видел возмутительное попираание зависимых людей, когда «объездчики» пригоняли крестьянский скот или коней, зашедших на луг или поле экономии. Крики и побои со стороны приказчиков в конторе, вымогания штрафов за потраву, униженные мольбы отпустить коня, отношение к крестьянам как к низшим людям, как к скоту, презрение к ним в разговорах о «мужике». Я видел непоседа-

¹ Родилась Елизавета Андреевна в 1834. Она была двоюродной сестрой Алексея Николаевича Баха (1857–1946) — известного революционера-народовольца, автора нашумевшей книги «Царь Голод», а впоследствии выдающегося учёного, академика, одного из основоположников отечественной биохимии.

тельность иных «передовых» людей, когда они обращались к «мужику», и тогда я сам горел пламенной ненавистью к панам за их чванство, за их звёриную мораль. Когда я оставался один в саду или совсем один дома, я раздражался неудержимыми обвинениями, грозными обличениями всех лицемеров, хищников, себялюбивых людей из моего окружения. Несколько раз случалось так, что мои обличительные речи были подслушаны. Мне за это дали презрительную кличку «прокурор» и «философ». Тогда я ещё ничего не слышал о Цицероне и его обвинительных речах против Катилины. Я не могу вспомнить, откуда у меня зародилась эта державшаяся несколько лет привычка к обвинительным речам. Но во мне самом эти мои обвинения порождали невольное желание быть свободным от всех преступных, гнусных нравов, которые я обличал. И в противоположность взрослым, я сблизился с теми, кого оскорбляли и унижали. Я привязался к Дмитру Ремезу, старику-сторожу, бывшему крепостному. Он целые вечера и ночи, когда я пробирался к нему в караулку, рассказывал мне о крепостном праве, о побоях от панов, про «панщину», о диких расправах с дворовыми. Всё это не было ещё безвозвратно ушедшим в прошлое, а оставалось неизжитым по моим непосредственным впечатлениям. Очень часто я вмешивался в разговор старших и настойчиво, даже назойливо, призывал их во имя правды и справедливости стоять на стороне тех, кого притесняли, на кого кричали, кого заставляли работать, в то время как приказчик или ключник, надзиравший и покрикивавший на половших, пасынковавших, окучивавших посадки или ворошивших, сгребавших сено, сам полёживал где-либо в тени, в «холодку». Я укорял, стыдил, а меня за это клеймили презрительной кличкой «проповедник».

Особенно врезались мне в память повторявшиеся каждый год съезды мужиков, целыми днями ожидавших в сенях у конторы, когда им отведут участки земли в «испольщину»¹ на предстоящий год. Я незаметно проskalывал в контору и видел, как низко кланялись, поднося «паляницы» и колбасу конторщику, упрашивали записать за просителем определённый участок. Земля похуже сдавалась с половины, а чуть получше — «раз третья, раз половина», т. е. с одной половины спольщику — одна треть урожая, а с другой — половина. Многие просили, со слезами молили, но им отказывали. И я с горьким затаённым чувством обиды и бессильной злобы переживал неудачи этих, так много работавших людей, как и они сами. Молча, бывало, в слезах возвращался домой, не хотел идти к столу; одним словом, был «упрямым волчонком» или «барсуком», как меня тогда называли.

Мне было уже семь лет, бывало, когда ко мне обращались с лаской, я рассказывал обо всех несправедливостях и надругательствах над мужиками и рабочими, которые я видел в экономии. Этого взрослые не понимали. А когда я не подчинялся требованию вылезти из уголка и сесть за стол на своё место и меня пробовали притащить силой, я упирался, ложился на пол, долго и громко плакал. Это запечатлелось в моей памяти тяжёлым и неприятным воспоминанием.

¹ Одна из разновидностей аренды земли, при которой арендная плата составляет половину урожая.

И сейчас, через 75 лет, помню я всю остроту обиды, безысходность и бессилие преодолеть обиду. Один раз, это я точно помню, когда мне не было ещё и шести лет, я дал себе слово, что никогда не забуду во всю последующую жизнь те мысли и чувства, которых взрослые не понимают, думая, что малые дети — только материал для воспитания и воздействия, хотя на самом деле они гораздо глубже и справедливее взрослых. Я вышел в сад, взобрался на «погребню» и, стоя на ней, давал себе клятву, что сам никогда не буду таким тупым взрослым и до конца жизни не забуду этой клятвы.

К этому же возрасту — пяти-семи годам — относится моё увлечение решением трудных арифметических задач. Я ещё не был крепок в письме, и все задачи решал в уме. Старший брат Яков готовился тогда к поступлению в горное училище. Задачи, которые ему не удавалось решить алгебраически, я решал в уме. Его раздражало и злило, что мои решения совпадали с ответом.

С периодом жизни в Борках (до русско-турецкой войны) связано у меня воспоминание о заболевании дифтеритом. Это было в конце зимы 1875-го или в 1876 г. Большую боль причиняли смазывания глотки и удаление оттуда налётов и плёнок. Мать повезла меня в Козелец к доктору Гольдвуху. Чтобы я не замёрз в пути, на ноги мне надели (удивительно ясно помню эту подробность) бурки с оторочкой из барсучьего меха, а мать закутала меня в отцовскую меховую шубу. Долго ещё после выздоровления я страдал нарушением зрения. Всё двоилось в глазах, я не разбирал букв и не понимал, не видел картинок. Это вызывало очень обидные насмешки братьев. Старшая сестра Вера готовилась тогда к работе в земстве на эпидемии дифтерита. Она выходила меня.

Из того же периода хорошо помню, как в жаркие летние ночи я и Серёжа приходили спать вместе с отцом на холодильный помост. Плотно сбитый из чистых тёсаных досок открытый помост с невысокими бортами был устроен на уровне верхнего этажа на высоких столбах. Во время работы завода он служил для выпуска и охлаждения браги из перегонных чанов. Каждый раз после сгона браги помост (холодники) тщательно очищался и вымывался. Летом это было прекрасное место для сна под открытым небом на набитых сеном мешках, застланных чистыми рядами. Накрывались мы так же рядами.

Мы просыпались вместе с отцом на рассвете, при восходе солнца. На наших глазах оно выкатывалось на горизонте «як млыновее коло» и, пока мы умывались и одевались, успевало уже значительно подняться над горизонтом, но не пекло, а ласково согревало своими яркими лучами. В память запали слова отца, смотревшего на восход солнца:

— Ну вот, солнце только что появилось, родился новый день. К полудню оно поднимется до наибольшей дневной высоты, а к вечеру спустится и зайдёт за горизонтом, и день закончится. Как один день проходит и человеческая жизнь. Вы ещё на рассвете жизни, а время уходит незаметно, и день жизни идёт к закату. Когда будете такими, уже пожившими, как я теперь, вспомните, каким было для вас это раннее, светлое, тёплое утро, когда я ещё с вами смотрел восход солнца, и у вас вся жизнь ещё была впереди.

Я и сейчас, восемьдесят лет спустя, вспоминая то радостное для нас утро и эти полные грустного раздумья слова отца.

Отец всегда придавал большое значение укреплению здоровья. В детстве мы умывались ранним утром голышом и в таком виде бегали в саду под тёплым летним грозовым ливнем или дождём.

Где бы ни проходили годы нашего детства в зависимости от перемены места службы отца — в Борках или Алексеевщине, или в другой местности, мы везде с братом Сергеем посещали местную сельскую кузницу. Постепенно у нас завязывалось знакомство и даже дружба с «ковалём» и его помощниками. По сельским трактам изо дня в день тянулись вереницы возов, на которых везли «лесты» — жерди — для изгородей или лесные материалы для строительства в степной полосе. Везли соль и «тарань» — вяленую воблу — из Приазовья, проезжали в тарантасах заезжие люди. Часто и из наших сёл уезжали куда-либо на ярмарку. И всегда в таких случаях нужно было подковать или перековать лошадей в зависимости от характера предстоящей дороги. Коней, работавших в поле, обычно не подковывали, но в дальних поездках копыта могли разбиться, а конь — захромать. Правильная подковка лошадей — главная причина, почему «кузня» была необходимой принадлежностью сельской местности. Обычно она находилась за селом, поближе к реке, но в то же время недалеко от проезжей дороги. Подле кузни было несколько станков и столбов для привязывания лошадей при подковывании. Подковы подгонялись в кузне по размерам копыта, в кузне была одна или несколько наковален, но, самое главное, был горн, в котором разогревалось докрасна или добела, смотря по надобности, железо. Для этого горение берёзовых углей, запас которых в рогожных мешках всегда имелся в кузне, в горне усиливалось «поддуванием» из мехов. Раскалённые куски железа, захваченные клешнями, поддерживались ковалём на наковальне и под ударами молота принимали желаемую форму.

Зайти в кузницу, смотреть, как брызжут и разлетаются искры и осколки от ударов молота, как разгорается огонь в горне от работы кузнечного меха, постепенно незаметно подойти поближе, не бояться разлетающихся искр, вовремя подать щипцы или зубило или подхватить перекинутую через блок цепочку от мехов и начать раздувать огонь в горне... Особенно интересно было, когда в кузницу приносили для сварки разломавшийся сошник или слишком короткий лом для наращивания. Оба конца накалялись добела, осторожно накладывались на наковальню и сильными ударами молота сплющивались и въедались друг в друга, превращаясь в один. Сначала нас, обычно, пугали и выгоняли из кузни. Мы научились не привлекать к себе внимания и к нам привыкали, а бывало, к нашей радости, и так, что долгое время неприветливый коваль давал молоток:

— Ну-ка, бей в такт! — и нужно было мерно попадать, не пропуская своей очереди. Чаще такая честь оказывалась Серёже. Я всегда отставал от него в ловкости и силе и мирился со своей участью физически менее умелого. Зато я брал настойчивостью и всё более обострившимся желанием сделать что-то не хуже брата.

Но не только работа в кузнице с её волшебными картинками яркого жара в горне и разлетающихся искр от ударов по раскалённому железу, с внезапным шипением и свистом в бочке с водой, куда опускалась сталь для закаливания, влекла нас к себе, вызывала затаённое желание учиться так же

сильно и искусно бить молотом, сваривать железо, плавить олово и свинец для запаивания леек и вёдер, как это делал мальчик, помогавший ковалю, или даже сам коваль. Не менее заманчивой казалась нам и работа «стельмаха», который подле кузницы чинил сломанные повозки, делал топором из толстой доски новую ось для телеги, вставлял новые спицы, долотом и стамеской проделывал дыры во втулках, и через час-другой его работы вместо поломанного воза у кузни стояла крепкая исправная телега, на ободья колёс которой коваль натягивал выкованные в кузне шины. Дид-стельмах был не такой крепкий и сердитый, как коваль, а тихий и добрый, охотно дававший пилу или даже долото и топор, чтобы отколотить часть щепки, не досаждавший нас вопросами, — для чего, мол, вам тут пачкаться сажей и дёгтем, вам учиться надо грамоте, а не нашей работе, — как обычно слышали мы в кузне. Дид-стельмах вместе с нами радовался, когда правильно работала в моих или Серёжиных руках ножовка или рубанок, когда хорошо и точно удавалось сделать его острым топором зарубку на доске.

Так же увлекало нас желание научиться хорошо работать серпом, когда начиналась «жнив» и везде в поле жали рожь, или научиться класть правильно покос, когда мы видели работу косарей.

У нас никогда не возникал вопрос, зачем нам было нужно научиться выполнять работу умело, как делают другие. Этого хотелось так же, как хочется не хуже других скользить зимою по льду на коньках или «запулить» не хуже другого мяч при игре в «гилки». Но при этом было ещё, может, не вполне ясное сознание, что при умении жать или косить, плотничать или работать в кузне можно помочь работать другим, надрывающимся от чрезмерного и непосильного труда, можно принести пользу, которой не видишь в игре или спорте.

Когда сейчас, в конце моего длинного жизненного пути, я останавливаюсь на самом отдалённом, но ещё свежем в сознании прошлом, я сам удивляюсь, как много ярких, не тускнеющих и не стирающихся воспоминаний связано у меня с периодами войн, которые переживала на протяжении моей жизни наша страна.

В наиболее раннюю пору детства сильное впечатление производили рассказы о свежих ещё тогда событиях, связанных с героической обороной Севастополя, о потрясениях и бедствиях, бурных волнах народных и общественных движений, зародившихся вслед за Крымской кампанией, приведших к падению крепостного права. Всё это жило и волновало в рассказах окружающих, в рассказах, полных благородного негодования в адрес реакционных душителей жизни николаевского времени. Всё услышанное тогда в горячих и постоянных спорах отложилось в глубине моей памяти, точно речь шла не о событиях, происходивших за 10–15 лет до моего появления на свет, а точно я сам жил в то время. Но всё же несравнимо ярче встаёт передо мною период русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Мне уже было тогда восемь–девять лет. Сознание и интерес к общественной жизни пробуждены были у меня очень рано. И когда началась Балканская война, вся острота внимания к событиям, отзвуки которых находили отражение в «Сыне Отечества», в «Голосе», а их я уже тогда привык ежедневно просматривать, составляла содержание моей внутренней жизни.

Мы жили тогда в Борках, в семи верстах (11 км) от Козельца. Отец был там управляющим имением. Каждый день с каким-либо поручением посылали в город рабочего, и я всякий раз старался присоединиться к посланцу. В Козельце — как сейчас помню — почти у самого собора находилась почтовая контора. Преодолевая свою чрезмерно выраженную и всегда мучившую меня робость, я забегал на почту, чтобы взять газеты, которые выписывал мой отец. На возвратном пути я успевал прочесть все военные новости о движении наших войск, о переходе через Балканы, об ужасах Плевны. Я делился своими волнениями с кучером Лукой, а дома, раньше, чем кто-либо успевал прочесть газеты, я уже рассказывал обо всех военных событиях. Как давно это было! Но в моей памяти эти поездки мимо густого Борковского сада по глубоким пескам на дороге через сосновый бор «Закревщину» к берегу реки Остёр, подъезд к Слободке, к мосту и, наконец, — собор и почтовая контора — стоят и оживают, точно вижу всё это вновь, всё стоит перед моими глазами.

С совершенной несомненностью помню, с каким торжеством прочёл я, возвращаясь с почтой, что «Шестаков и Дубасов потопили турецкий монитор»! Мне не терпелось, и когда мы доехали до дороги, огибавшей сад, я соскочил с телеги и через сад прибежал, чтобы возвестить дома об этом нашем успехе на море. Газетное барабанное бахвальство и буйно разросшийся во время войны шовинизм, по-видимому, не могли не повлиять на мои настроения.

Отчётливо сохранились в памяти и другие волнения и горести, относившиеся к периоду 1877–1878 гг. Особенно плакала и горевала старшая сестра по поводу тяжёлой болезни и смерти Н. А. Некрасова. Она прочитывала вслух и перечитывала много раз со слезами последние стихотворения поэта, напечатанные в «Отечественных записках»: «Двести уж дней, двести ночей муки мои продолжаются», «Скоро стану добычею тлена», «О, муза, я у двери гроба» и другие. Об отношении к поэзии Некрасова в нашей семье говорит то, что я уже знал тогда наизусть постоянно декламировавшиеся у нас его стихи и поэмы: «У парадного подъезда», «Железная дорога», «Отпусти меня, родная». Но я говорил наизусть и ряд резко обличительных произведений Некрасова, таких, как «Окружают тебя добродетели, до которых другим далеко» или «Колыбельная песня».

Помню, как больно и горько отзывались на всех окружающих неудачи под Плевной, какое негодование вызывали передававшиеся из уст в уста слухи о попытках неподготовленными штурмами взять её по приказу командовавшего армией брата царя, Николая Николаевича Старшего, ко дню именин Александра II. Штурмы эти стоили жизни десяткам тысяч солдат. До сих пор в моей памяти встают бичующие популярные тогда слова революционного стихотворения о взятии Плевны:

Именинный пирог из начинок людских
Брат подносит державному брату,
А на родине ветер холодный шумит
Да разносит солдатскую хату.

Помню восторги, находившие отклик и в моих настроениях восьмилетнего непокорного резонёра, дикого «буки», от подвигов моряков Дубасо-

ва и Шестакова, от восхваления доблестных, стремительных продвижений Гурко, а затем Скобелева.

Живые воспоминания остались у меня о турецких военнопленных, которые в очень значительном количестве были размещены к концу войны в Козельце. В это время отец из Борок перешёл на работу в Алексеевщину, куда, сколько помню, приглашён был Бодровым, который сам не жил в своём небольшом имении, но хотел его получше устроить. Рядом с хутором Разумы, в двух-трёх верстах от Козельца, была запущенная липовая роща. Подле неё и устраивалось новое хозяйство. По плану отца прокладывалась дорога, её обсаживали тополями. Копали пруд, шла разбивка сада. Отводились земли под плантации. Целые десятины засаживались виноградными черенками «чубуками». К работе привлекались военнопленные. Воинский начальник по заявке присылал под охраной сто и более пленных. Охрана обычно состояла из двух часовых из новобранцев.

Нам, детям, сначала в диковинку было смотреть на турок в красных фесках и в особой, непривычной для нашего глаза, обуви. Мы их боялись, с большой опаской относились к «башибузукам». Но скоро я и брат Серёжа познакомились с пленными. Русские часовые относились к нам очень ласково. Мы стали отличать среди пленных благодущных и добрых «османов» (из Константинопольского вилайета). Они весьма отрицательно относились к войне, с нетерпением ждали, когда будет заключён мир. По преимуществу это были мобилизованные во время войны не очень молодые крестьяне, у которых дома остались семьи, дети. Они постоянно говорили о своей тоске по дому. Мы старались обучать их русскому языку. По их просьбе читали им газетные новости и в особенности о всяких слухах о ходе переговоров о мире. Они же научили нас многим турецким словам, объясняли свои обычаи, рассказывали об особенностях своего быта. Многие из них были крупного роста, силачи. Один из пленных, играя, брал часового и выкидывал его на копну сена. Когда началась уборка луга и полей, турки оказались умелыми косцами. Придя на работу, они утром и вечером совершали свои молитвенные обряды, омовения. Утром и за обедом обильно сопровождали еду хлеба и приварка большим количеством зелени, петрушки и сельдерея, обмакивая их в соль. Некоторые из «османов» с особой симпатией относились к детям. У меня завязалась дружба с одним из них, которого я в шутку называл «осман-паша». Он с удовольствием во второй год, когда уже довольно хорошо научился говорить по-русски и поджидал скорой отправки домой, рассказывал о своих детях, о хозяйстве и жизни на родине. А так как я очень часто приносил ему угощение из дома, он обещал мне прислать, когда вернётся из плена, какой-нибудь турецкий подарок. И он выполнил своё обещание. Спустя два года после войны он по почте прислал с трогательной запиской верхнюю летнюю рубашку с нашитыми в виде украшения густыми рядами перламутровых пуговиц.

Отношение местных селян-украинцев к работавшим вместе с ними пленным было вполне дружелюбным. Пленных жалели, часто высказывая при этом, что и нашим, находящимся в плену на чужбине, будет легче, если их пожалеют. Уже тогда от наблюдений на деле отзвуков войны в глубине села у меня как-то само собою складывалось такое чувство, что воюют

между собой не массы простых людей, а те, кто их гонит на войну — высшие власти, их правительства. А уж раз война идёт, то призванные солдаты проявляют геройство и выносят все страдания, тяготы, ранения и смерть.

Помню, сколько было слёз, сколько горя проявляла вся семья очень близкого мне Петра Кадюка, всегда дававшего мне налаженную косу, чтобы я мог научиться косить, — когда после неудачной «первой Плевны» была мобилизация ополченцев. Исключительный добряк и семьянин Петро, взятый в ополчение, был в маршевой роте направлен в Архангелогородский полк, участвовавший в штурмах Плевны. Я навещал семью Петра, видел все тревоги и оплакивания Петра, о котором долгие месяцы не было вестей.

Точно это сейчас происходит, вспоминаю я приготовления в липовом большом старом парке Алексеевщины, выходившем на дорогу из Тополей в Козелец, к встрече Архангелогородского полка, возвращавшегося с войны в свои козелецкие казармы. Вдоль дороги устанавливались столы с угощением. Между липами натягивались полотнища с приветствиями, ставились скамьи, делались навесы. Мы с братом Сергеем непрерывно бежали, чтобы смотреть за этими приготовлениями. Из города, из соседних сёл, из Слободки собрались толпы народа. Вот издали донеслись слабые звуки военного оркестра. Затем показались на лошадях командиры. Их встретили хлебом-солью и просили дать роздых полку в липовом парке и разрешить угостить солдат. Был жаркий летний день. В полной походной форме, среди густых облаков пыли и сами с головы до ног покрытые пылью, шли солдаты. Батальон за батальоном, рота за ротой, с ружьями на плечах; фельдфебели с шашками и офицеры на лошадях отводили роты на подготовленные для них места. Гремел оркестр, неслись отовсюду крики «ура!». Встречающие несли угощение — связки баранок, бубликов, пампушки, молоко. Солдаты ставили ружья в козлы...

Сколько интереса и удовольствия было нам пощупать и приклады, и штыки! Наконец, после рот пошёл обоз, подъехали кухни. Неизъяснимою радостью была встреча с Петром Кадюком. Он оброс бородою, на погонах красовались нашивки. Он был цел и невредим, надеялся на скорое увольнение со службы. Но вот заиграли горнисты, и под барабанный бой солдаты привели себя в походный вид — со свёрнутыми шинелями через плечо и с ранцами за спиной. Быстро разобрали ружья. Заиграл оркестр, и полк потянулся к дороге и гребле (насыпи, плотине), ведущей к Козельцу. Скоро в Алексеевщинском «липняке» всё опустело, и только кое-где сбежавшиеся неизвестно откуда собаки подбирали объедки.

Два года в народной городской школе в Козельце

В связной и отчётливой последовательности у меня в памяти не сохранился ход событий от момента окончания войны до поступления осенью 1879 г. вместе с братом Сергеем в Козелецкое городское училище в третью группу, соответствующую третьему году обучения. Упомяну лишь об одном вос-